

ЛЕРОЙ ГЛИВЕРА



ТРИДЦАТЬ СУТОК

РОМАН · АНТИУТОПИЯ

18+

Лерой Гливера

Тридцать суток

<https://litres.ru/74325114>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Государство не убивает. Оно лишь перестаёт поддерживать тех, кто не поддерживает его».

Адриану Кошу сорок семь лет, и почти все они прожиты впустую. Он лучший корректор биографий: переписывает жизни тех, кого не стало, придавая им нужный вид. Его дни ровны, его положение прочно, его свет — зелёный. В мире, где за каждым закреплён труд, а праздность карается медленной смертью, Адриан спасён надёжнее многих.

Всё меняет одно дело — папка, которой не должно было существовать. Женщина без имени, умершая без причины. Чтобы понять, кем она была, Адриану придётся спуститься туда, куда не спускается никто, — и встретить ту, рядом с которой он впервые почувствует себя живым.

Но за всякое пробуждение приходится платить. И кто-то очень терпеливый ждал именно этого — с самого начала.

Роман-антиутопия о любви, памяти и цене пробуждения. Первый том дилогии.

Содержание

Часть первая. «Стабильный таймер»	5
Глава первая. «Зелёный свет»	5
Г	44
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Тридцать суток

*В мире, где за безделье платят жизнью,
страшнее всего — проснуться.*

Часть первая.
«Стабильный таймер»

Глава первая. «Зелёный свет»



Запястье Адриана Коша светилось ровным зелёным, и это было первое, что он видел каждое утро — ещё до потолка, ещё до собственных рук, ещё до того, как сознание успевало вспомнить, кто он и где находится.

Свет шёл изнутри, из-под кожи, из тонкой нити имплантата, вживлённой туда двадцать девять лет назад, в день его восемнадцатилетия, как вживляли каждому в этот день, по всей территории Континуума, без единого исключения. Зелёный означал «бессрочно, занят». Зелёный означал, что государство по-прежнему находит его полезным и потому, пока что, позволяет ему дышать. Адриан лежал неподвижно и смотрел на это свечение, пока оно не размывалось перед глазами в мутное пятно, и думал — без всякого чувства, как думают о погоде или о цвете стен, — что вот и ещё одно утро, в которое он не умрёт. Мысль приходила и уходила, не оставляя следа. Она приходила каждое утро. Двадцать девять лет подряд.

Он не помнил уже, когда эта мысль перестала его пугать. В юности — да, в юности зелёный свет был как амулет, как обещание, и просыпаться было радостно, потому что зелёный значил будущее. Потом радость стёрлась, как стирается всё, к чему привыкаешь, и осталась просто констатация. Жив. Занят. Можно вставать. А ещё позже, в какой-то год, который он не сумел бы назвать, к констатации примешалось что-то новое — едва осязаемое, на самом дне, такое,

чего он сам себе не позволял называть словами. Что-то вроде разочарования. Будто каждое утро, видя зелёный, он на долю секунды успевал понадеяться, что увидит другой цвет, — и каждое утро эта надежда оказывалась обманутой. Но это было так глубоко и так стыдно, что он научился не доходить до этого дна. Он просыпался, видел зелёный, отмечал: жив, — и вставал. Пол был холодным.

День, когда ему вживили нить, Адриан помнил плохо — так, как помнят то, что было слишком давно и слишком у всех. Восемнадцать лет. Большой зал, очередь таких же восемнадцатилетних, всех в один день, потому что вживляли по дате рождения, и кто родился в этот день, тот в этот день и получал нить, без отсрочек, без исключений. Их вели по одному за матовую перегородку, и каждый выходил оттуда с тонкой свежей припухлостью на запястье и с зелёным светом под кожей, и лицо у каждого было одинаковое — растерянное и торжественное разом, лицо человека, которого только что приняли в число живущих. Им говорили, что это праздник. Совершеннолетие. День, когда государство признаёт тебя своим, берёт под опеку, даёт тебе место, труд, будущее. Многие и вправду радовались — Адриан помнил, что и сам радовался, что нить под кожей казалась ему тогда не поводом, а знаком отличия, пропуском в настоящую жизнь. Им не объясняли — да они и не спрашивали, — что нить делает ещё, кроме того что светит зелёным. Про вторую её способность — про то, что хранится в ней свёрнутым, дрем-

лющим, до поры, — узнавали потом, постепенно, не от государства, а от жизни: видели на улице первое янтарное запястье, первое красное, первую трансляцию на площади, — и понимали, медленно, что амулет, который им вживили в праздник, имеет и обратную сторону. Но к тому времени нить уже срасталась с телом так, что становилась его частью, и вынуть её было нельзя, и оставалось только одно — трудиться, чтобы она спала. Праздник оборачивался пожизненной службой, но так плавно, так незаметно, что и придаться было не к чему: ведь никто не обманывал прямо, просто кое-чего не договаривали, а додумать никто не торопился, потому что додумывать было страшно и непродуктивно.

Адриан тронул запястье пальцами другой руки — там, где под кожей лежала нить. Привычка, оставшаяся, должно быть, ещё с тех первых дней, когда припухлость саднила и хотелось её потрогать. Теперь там не саднило ничего — гладкая кожа, ровное тепло, едва заметная под пальцами твёрдость нити, вросшей навсегда. Двадцать девять лет. Он отнял руку и встал.

За окном Континуум просыпался серым.

Город лежал внизу и вокруг, уходя к горизонту во все стороны, и сверху, с сорок второго яруса, был похож на гигантскую схему — на чертёж, сделанный кем-то, кто очень любил прямые линии и совсем не любил людей. Дома стояли ровными рядами, одинаковые, как зубья гребёнки, серо-бежевые, без единого украшения, потому что украшение — это

излишек, а излишек — это непродуктивно. Между домами тянулись улицы, и улицы тоже были прямыми, и пересекались строго под прямым углом, и Адриан, проживший здесь всю жизнь, не мог бы вспомнить ни одной кривой улицы, ни одного закоулка, ни одного места, где линия города дрогнула бы и пошла не туда, куда ей было предписано идти.

Но дома были не главным в этом городе — главным были не они. Тут и там над ровными рядами жилья поднимались иные строения: глухие, без единого окна, тяжёлые башни, серые и слепые, торчавшие среди домов, как пни среди травы. Их было много — Адриан, скользя взглядом по городу, насчитывал десятки только в виду своего окна, а дальше, к горизонту, они стояли всё гуще, сливаясь в сплошную щетину. Это были предприятия. За глухими их стенами что-то делалось — Адриан не знал толком что, да и никто из его круга не знал: в одних плавили и ковали, в других ткали, в третьих растили еду в чанах под лампами, в иных, говорили, добывали из-под земли руду и камень, спускаясь шахтами ещё ниже, чем уходили жилые ярусы. Всякая башня была отдельным миром, замкнутым, самодостаточным, и миров этих были тысячи, и в каждом жили и работали люди, которых Адриан никогда не видел и не увидит. Потому что — и это Адриан знал, как знали все, не задумываясь, — башня уходила не вверх, а вниз. То, что торчало над землёй, было лишь верхушкой; настоящее тело предприятия пряталось под ним, ярус за ярусом, глубоко, и чем ниже ярус, тем гряз-

нее и тяжелее был труд, и тем плотнее жили при нём те, кто этот труд давал. Рабочие не ходили на работу — рабочие жили в ней: спали в тесных комнатах над своими цехами, спускались на смену на свой ярус, поднимались обратно, и так год за годом, не выходя наружу месяцами, потому что наружу было незачем и некуда. Город, который Адриан видел из окна, был лишь кожей. Под кожей, в тысячах врытых в землю башен, и шла настоящая жизнь Континуума — та, ради которой он существовал.

Говорили, что когда-то, до Переустройства, города были другими — что улицы в них вились, как им вздумается, что дома были разной высоты и разного цвета, что были места, построенные просто так, для красоты, без всякой пользы. Адриан не очень в это верил. Это было слишком похоже на то, что писали в исправленных биографиях, — на ту жизнь «до», которую государство любило изображать хаотичной, грязной, жестокой, чтобы нынешний порядок казался спасением. Он, корректор, лучше многих знал, как делается такая память. И всё-таки иногда, глядя на прямые линии под окном, он ловил себя на странном чувстве — будто прямизна эта не была изначальной, будто кто-то очень постарался выпрямить то, что от природы хотело виться. Он гнал это чувство. Оно было непродуктивным.

На крыше каждого дома горел экран. Экраны не выключались никогда — ни ночью, ни в редкие часы, когда город спал, ни в дождь, ни в туман. Они были глазами и голосом го-

сударства одновременно: они смотрели на улицы вниз, считывая лица, походку, скопления, и они же говорили с улицами, не умолкая ни на минуту. Сейчас на ближнем из них — на крыше дома напротив, так близко, что Адриан мог разглядеть мягкое движение губ диктора, — женский голос читал утреннюю сводку вклада. Голос был тёплым. Это первое, что замечал в нём всякий, кто слышал его впервые, и последнее, к чему привыкал: государственный голос был неизменно, неотступно тёплым — мягким, как подогретое молоко, ласковым, как рука, гладящая по голове. Этим голосом общались обо всём. Этим голосом считали мёртвых.

«Доброе утро, граждане, — говорил голос, и в нём была улыбка, которую невозможно было увидеть, но нельзя было не услышать. — Континуум приветствует новый день труда. За минувшие сутки совокупный вклад составил сто двенадцать целых и четыре десятых пункта — на полпункта выше, чем накануне, и мы благодарим каждого, чья работа сложилась в это число. Вы — кровь государства. Вы — то, ради чего оно живёт».

Адриан слушал вполуха, натягивая серую рубашку. Он знал эту сводку наизусть — не эту конкретную, а её форму, её ритм, потому что все сводки были одинаковы, менялись только числа. Сначала — благодарность трудящимся. Потом — числа вклада, всегда с лёгким ростом, потому что вклад обязан был расти. Потом — короткое наставление, всегда о любви к труду. А в самом конце, тихо, почти нежно, как

добавляют в конце письма постскрипtum о пустяке, — счёт угасших.

«...И прежде чем вы выйдете на улицы, — голос чуть понизился, сделался ещё мягче, почти интимным, — Континуум просит вас вспомнить тех, кто вчера завершил свой отсчёт. Шестьсот сорок один человек угас за минувшие сутки, не сумев восстановить свою занятость в отведённый срок. Государство скорбит о каждой непродуктивной единице. Государство напоминает: ни один из них не был оставлен. Каждому были даны тридцать суток. Каждому был открыт путь к жизни. Они не пошли по нему. Любите труд, граждане, и труд сохранит вас. Доброго дня».

Шестьсот сорок один. Адриан застегнул последнюю пуговицу. Вчера было пятьсот девяносто с чем-то, позавчера — за шестьсот. Числа эти ничего ему не говорили; они были слишком велики, чтобы что-то значить, — так же, как ничего не значит расстояние до звезды. Шестьсот сорок один человек умер вчера в мучениях, по всей территории Континуума, поодиночке, в чистых светлых комнатах под тёплым светом, и сегодня утром об этом сообщили между числом вклада и пожеланием доброго дня, и шестьсот сорок одна семья, или сколько их там осталось у этих людей, услышали это и пошли на работу быстрее обычного. И он пойдёт. Зелёный свет под кожей грел ровно.

Он жил один в двух комнатах на сорок втором ярусе, и это считалось хорошим жильём — жильём человека со ста-

бильным таймером, корректора первой категории, гражданина вне подозрений. Две комнаты, отдельная вода, окно на восток. Многие жили иначе — по четверо, по шестеро в одной комнате, в ярусах пониже, где вода шла по расписанию на весь блок и окна выходили в вентиляционные колодцы.

Жить в доме, а не в ярусе, было само по себе знаком. Континуум делился надвое грубо и просто: те, кто жил в домах, и те, кто жил при работе. Внизу, в башнях-предприятиях, рабочие не имели ни домов, ни улиц — они жили там же, где трудились, в комнатах над цехами, и весь их мир был — их ярус. Наверху, в отдельных бетонных домах ближе к свету, жили управляющие, распорядители, те, кто стоял над предприятиями и не пачкал рук, — директорская кость, к которой Адриану было не подняться никогда. А между этими двумя мирами — между рабочими ярусами внизу и директорскими домами наверху — лежала тонкая, узкая прослойка тех, кто не управлял, но и не стоял у станка: учётки, счётные, переписчики, корректоры. Клерки. Их было немного, гораздо меньше, чем рабочих, и труд их был чистым — бумага, число, запись, — и за этот чистый труд им полагалась чистая жизнь: не койка в ярусе, а комната в доме, пусть на сорок втором этаже, пусть с окном в колодец, но в доме. Адриан был из них. Не верх и не низ — узкая прослойка посредине, та самая, что держит в порядке записи обоих миров и тем кормится. Он знал своё место и до сегодняшнего дня находил его хорошим.

Адриан заслужил своё жильё двадцатью годами безупречной работы, и оно было наградой, и оно же было поводом: потеряй он работу — потерял бы и комнаты, и воду, и окно на восток, и зелёный свет под кожей сменился бы другим, и пошёл бы отсчёт. Всё в Континууме было устроено так: всякая награда была одновременно поводом, и чем больше тебе давали, тем больше тебе было что терять, и тем послушнее ты становился. Адриану было что терять. Поэтому Адриан был очень послушен.

Он прошёл в умывальную. Вода включилась от движения руки и пошла — тёплая, ровная, и Адриан знал, что она будет идти ровно четыре минуты, а потом остановится, потому что четыре минуты — это норма утреннего расхода для одного гражданина первой категории, и норму эту он не превышал никогда, даже когда хотелось. Он умылся, побрился старой механической бритвой — электрические выдавали расход энергии, а механическая не значилась ни в какой ведомости, и в этом была крошечная, тайная свобода, единственная, какую он себе позволял: бриться, не оставляя следа. В зеркале на него смотрел сухой, ещё не старый мужчина сорока семи лет. Тёмные, чуть тронутые сединой волосы, коротко стриженные, как стригли всех. Серые глаза без выражения. Лицо, на котором за последние двадцать лет не прибавилось почти ни одной новой морщины, — и Адриан, глядя на это лицо, иногда думал, что для морщин ведь нужно что-то чувствовать. Нужно смеяться, чтобы залегли морщинки

у глаз. Нужно хмуриться, чтобы прорезалась складка между бровей. Нужно горевать, удивляться, бояться, любить — а он давно научился не делать ничего из этого, и лицо его за это благодарило, оставаясь гладким и молодым, как лицо человека, который не жил.

Вода остановилась на четвёртой минуте, оборвавшись на полудвижении. Адриан вытерся, оделся в серое — серая рубашка, серый китель корректора с одной тонкой фиолетовой полосой на рукаве, означавшей первую категорию, серые брюки, серые ботинки. Вся одежда в Континууме была серой, с цветными метками статуса, и по цвету метки можно было прочесть человека быстрее, чем по лицу: фиолетовая полоса — корректор, синяя — учёт, красная — порядок, зелёная — производство, и так далее, целая азбука, которую все знали с детства. Цвет говорил, кто ты. Лицо не говорило ничего; лица в Континууме научились молчать.

Перед выходом он, как всегда, поднёс запястье к панели у двери. Это был ритуал, повторявшийся столько раз, что тело делало его само, без участия мысли: подойти, поднять руку, прижать запястье к холодной матовой пластине. Панель считала имплант — Адриан почувствовал короткое, чуть покалывающее тепло под кожей, — и на матовой поверхности высветились строки, бледно-зелёные, спокойные. Гражданин Кош Адриан. Категория первая. Занятость — подтверждена. Статус — активен. Отсчёт — не запущен. Те же слова, что светились у него под кожей, только развёрнутые, пропи-

санные, официальные. Дверь мягко отошла в сторону. Государство, считав его и найдя в порядке, снова разрешило ему выйти.

Он никогда не думал об этом ритуале как о чём-то унижительном — думать так было бы непродуктивно и опасно, — но где-то на том же дне, до которого он не доходил, жило знание, что каждое утро он просит у двери разрешения существовать. И дверь даёт его. Пока даёт.

На улице пахло озоном и мокрым бетоном — этот запах Адриан знал всю жизнь и не знал никакого другого; говорили, что когда-то города пахли иначе, листвой, дождём, едой из открытых окон, но Адриан в это не очень верил, как не верил и в кривые улицы. Город пах озоном от бесконечно работающих экранов и бетоном оттого, что был сделан из бетона, весь, целиком, и это было правильно, потому что бетон долговечен, дешёв и не требует ухода, а значит, продуктивен.

Люди шли на работу. Они шли потоком — ровным, плотным, текущим в одну сторону по правой стороне улицы и в другую по левой, никогда не смешиваясь, потому что смешение замедляет поток, а замедление непродуктивно. У каждого на запястье горел зелёный. Адриан, влившись в правый поток, видел вокруг себя десятки, сотни запястий, и все они светились ровным зелёным, потому что те, у кого светилось иначе — у кого таймер уже пошёл, у кого запястье наливалось медленным тревожным янтарём первых дней отсчёта или, хуже того, глубоким красным последней недели, — те

на улицах долго не задерживались. Их было видно издалека, по цвету, и поток обтекал их, расступаясь, как вода обтекает камень, не из жестокости, а инстинктивно, как сторонятся больного, чья болезнь, может быть, заразна. Адриан помнил, как однажды, лет пять назад, шёл в таком же потоке и увидел впереди красное запястье — человек брёл навстречу, шатаясь, и поток раздавался перед ним беззвучно, и никто не смотрел ему в лицо, все смотрели на красный свет, и Адриан тоже смотрел на свет, а не на лицо, и так и не узнал, как выглядел тот человек, и через минуту забыл о нём, и вот теперь вспомнил, спустя пять лет, неизвестно почему. Память иногда выкидывала такие штуки. Он гнал их. Они были непродуктивны.

Поток нёс его привычным путём — три квартала прямо, поворот налево, ещё четыре квартала, — и Адриан шёл, не глядя по сторонам, потому что по сторонам не было ничего, чего он не видел бы десять тысяч раз. Серые дома. Прямые улицы. Экраны на крышах, говорящие, говорящие, говорящие тёплыми голосами. Люди в сером с цветными метками. Изредка — патруль порядка, двое в сером с красными полосами, идущие медленно поперёк потока, и поток при их приближении делался ещё ровнее, ещё правильнее, спины выпрямлялись, шаг становился бодрее, потому что патруль смотрел, а когда на тебя смотрят, ты трудишься усерднее, даже если просто идёшь по улице. Адриан тоже выпрямлялся при виде красных полос — тело делало это само, — и сам

этого не замечал, как не замечают дыхания.

Покорность эту вкладывали в человека с самого начала, с того возраста, когда он ещё и ходить толком не умел, и вкладывали так умело, что потом она казалась не привитой, а врождённой, как цвет глаз. Адриан смутно помнил свои детские годы — общие комнаты, где растили детей вместе, потому что растить порознь было непродуктивно; ровные ряды маленьких коек; голоса воспитателей, мягкие, тёплые, неотличимые от голоса с экранов. Детей не били, не пугали, не наказывали грубо — в Континууме вообще не любили грубого, грубое оставляло следы и порождало злость, а государству не нужна была злость, государству нужна была любовь к труду. Детей растили лаской и песнями. Песни были про работу. Сказки были про работу — про усердного мальчика, что трудился и поднялся высоко, в бетонные дома, и про ленивого, что не трудился, и с ним случалось что-то смутное и страшное, о чём не говорилось прямо, но что каждый ребёнок понимал нутром. Их учили читать и считать — ровно настолько, насколько нужно было для труда, не больше; учили знать своё место и любить его; учили, что выше есть лучшее, к которому надо стремиться, а ниже есть худшее, которого надо бояться, и что граница между ними — труд, только труд, всегда труд. И ещё их учили — не словами, а всем устройством жизни, — что мир таков, каким они его видят, что он всегда был таким и иначе быть не может, что над головой небо, под ногами ярусы, а вокруг Континуум, един-

ственный и вечный. Ребёнок впитывал это, не замечая, как впитывают воздух, и вырастал человеком, которому и в голову не приходило усомниться, потому что сомнение в него просто не заложили, а сам он до него не доходил, занятый трудом. Так получались граждане. Так получился и Адриан — образцовый гражданин, в котором всё было на месте, всё работало, и только на самом дне, куда он не заглядывал, лежало нетронутым то крошечное, неубитое, чему он не знал названия и что когда-нибудь — он не знал ещё об этом — должно было проснуться.

В восемнадцать — нить. В восемнадцать же — распределение: государство смотрело на твои способности, на твои оценки, на склад твоего ума и решало, кем ты будешь, и решение это было почти окончательным. Адриана определили по части записей и учёта — за усидчивость, за память, за умение обращаться со словом, за то, что он был тих, точен и не задавал лишних вопросов. Он не выбирал этого — за него выбрали, как за всех выбирали всё, — и принял, как принимали всё, без ропота, потому что роптать было непродуктивно, а кроме того — некуда: другой жизни не было, не существовало, нельзя было передумать и стать кем-то ещё, можно было только подниматься или опускаться внутри однажды назначенного. Он поднимался. Сперва были годы мелкой учётной работы на нижних должностях, перепись да сверка, — а лет двадцать назад, дослужившись, он сел наконец за корректуру биографий, и с тех пор занимался ею, и

в ней дошёл до самого верха. Двадцать девять лет он поднимался и теперь стоял высоко — первая категория, две комнаты, зал, отдельная вода, — выше, чем поднималось большинство, и это считалось успехом, и Адриан, если бы его спросили, сказал бы, что доволен. Его никто не спрашивал. И он не спрашивал себя.

На площади Соответствия поток замедлился.

Площадь Соответствия лежала на пересечении главных улиц блока — большое пустое пространство, вымощенное серой плиткой, без скамей, без деревьев, без фонтанов, потому что всё это было бы излишеством, а единственным, что возвышалось над площадью, был Экран. Не такой, как на крышах домов, — много больше, во всю высоту здания, видный со всех улиц, сходящихся к площади. На этом Экране государство показывало то, что считало нужным показать всем сразу. Чаще всего — сводки, наставления, лица отличившихся работников, числа. Но иногда — и поток знал это, и потому всегда замедлялся, подходя к площади, замедлялся не из любопытства, а из какого-то более глубокого, утробного чувства, — иногда на большом Экране шла трансляция.

Адриан поднял глаза. Машинально, как поднимали все. Не поднять было нельзя — не потому, что запрещалось, а потому, что не поднять глаз на большой Экран было всё равно что не дышать: тело само поворачивало голову.

На Экране был человек.

Мужчина, может быть, лет тридцати пяти, хотя сказать на-

верняка было трудно — то, что с ним происходило, старило. Он сидел в чистой светлой комнате. Комнаты для угасания всегда были чистыми и светлыми — это было частью замысла, Адриан знал это лучше других, потому что не раз переписывал биографии тех, кто прошёл через такие комнаты: светлые стены, мягкий свет, удобное кресло, стакан воды на столике рядом, который умирающий уже не мог поднять. Никаких решёток. Никаких ремней. Государство не привязывало угасающих — в этом не было нужды и не было нужного смысла. Смысл был в обратном: показать, что человек свободен. Что дверь не заперта. Что он может встать и выйти в любую минуту — стоит только восстановить занятость, стоит только захотеть жить достаточно сильно. То, что встать он уже физически не мог, что нейротоксин, который имплант вбрасывал в кровь капля за каплей все эти тридцать суток, уже разъел его нервы настолько, что тело отказывало, — это в замысел тоже входило, но об этом не говорили. Говорили: дверь открыта. Он сам не выходит.

Внизу Экрана шла строка: «Гражданин Т-449. Сутки двадцать восемь из тридцати. Отсчёт запущен по причине утраты занятости. Путь к жизни остаётся открытым».

Человек на Экране дрожал. Это была не дрожь от холода — в комнатах для угасания было тепло, — а та крупная, неостановимая дрожь, которой бьётся тело, когда нервы, управляющие им, начинают умирать. Руки его лежали на коленях и тряслись, и пальцы то скрючивались, то распрям-

лялись сами собой. По лицу, блестящему от пота, текли слёзы — тоже не от горя, а просто текли, потому что и это тело уже не контролировало. Губы шевелились. Звук транслировали очень тихо, приглушённо, чтобы не пугать прохожих, а вразумлять их, и Адриан не мог разобрать слов, но видел движение губ и понимал, что человек что-то говорит — то ли молится, то ли просит, то ли зовёт кого-то, кого в светлой комнате не было и быть не могло, потому что угасали всегда в одиночестве. Может быть, имя. Может быть, он повторял чьё-то имя. Люди в последние дни часто повторяли имена — Адриан читал об этом в отчётах, прилагавшихся к делам. Имя матери. Имя ребёнка. Имя того, кого любили. Будто имя могло протянуться сквозь стену светлой комнаты, сквозь Экран, сквозь весь Континуум и коснуться того, кто его носит.

Поверх изображения звучал тёплый женский голос — тот же, что читал утреннюю сводку, или неотличимый от него.

«Этого можно было избежать, — говорил голос с бесконечной мягкостью, почти с материнской печалью. — Граждане, посмотрите. Перед вами человек, которому государство дало всё. Тридцать суток. Множество открытых вакансий. Полную свободу выбрать жизнь. Он не выбрал. Не по злому умыслу — мы не верим, что среди вас есть злоумышленники, — а по слабости, по лени, по той медлительности души, что хуже всякого преступления, потому что преступника можно исправить, а ленивого может спасти только он

сам. Не будьте как он. Любите труд, и труд сохранит вас. А о нём — помолитесь, если умеете, и идите работать».

Стоявшая рядом с Адрианом женщина с холщовой сумкой посмотрела на Экран, поджала губы — тонко, неодобрительно, как смотрят на чужую неопрятность, — и пошла дальше, заметно быстрее, чем шла до площади. Мальчик лет десяти, которого вела за руку мать, потянул её назад и спросил звонко, на всю притихшую площадь:

— Мам, а почему дядя плачет?

— Потому что он ленился, — ответила мать спокойно, не останавливаясь и не понижая голоса: стыдиться было нечего, она говорила правильные вещи. — Не смотри на него. Пойдём, а то опоздаем, и тогда уже мы будем плакать.

И они пошли. И мальчик ещё раз обернулся через плечо на дрожащего человека, с тем чистым, незамутнённым любопытством, с каким дети смотрят на всё подряд, ещё не зная, на что смотреть можно, а на что нельзя, — а потом отвернулся, потому что мать дёрнула его за руку, и забыл. И женщина с сумкой забыла. И весь поток, замедлившийся было у площади, миновав Экран, снова набрал ход и потёк дальше, ровный и плотный, и через тридцать шагов уже никто в нём не помнил про гражданина Т-449, который ещё был жив, который ещё дрожал и шевелил губами в своей светлой комнате и которому оставалось двое суток.

И Адриан тоже не помнил.

Вот что было самое страшное — хотя Адриан и этого

уже почти не понимал, потому что разучился понимать, что страшно, а что нет: он не помнил. Он сделал тридцать шагов прочь от площади, и человек на Экране стёрся из его сознания так же чисто, как стирается имя в исправленной биографии, — был и нет, и шва не видно. Двадцать лет назад он бы остановился перед таким Экраном. Он помнил — смутно, как помнят сон, — что когда-то останавливался, что когда-то от вида угасающего у него перехватывало дыхание и потом весь день было нехорошо, мутно, совестно, хотя совесть была чувством непродуктивным и опасным. Десять лет назад он, проходя мимо, ещё вздрагивал — короткой внутренней судорогой, длившейся миг. А теперь — ничего. Теперь он смотрел на умирающего человека ровно столько, сколько требовало тело, чтобы повернуть и отвернуть голову, и не чувствовал при этом ничего, и шёл дальше, думая о квартальной норме. Зелёный свет под кожей грел спокойно. Сердце билось ровно. Он был в полном порядке. Он был совершенно, безупречно мёртв — той особой смертью, которой государство умертвляло живых, оставляя их ходить, работать и сдавать норму, и эта смерть была куда полнее и надёжнее той, что показывали на Экране.

И всё же — он сам не заметил этого, проходя площадь, заметил лишь много позже, вспоминая, — в это утро что-то было не так. Не на площади, не с человеком на Экране — с ним самим. Когда мальчик спросил «почему дядя плачет», в Адриане что-то дрогнуло. Слабо, на самом дне, на

одно мгновение, — но дрогнуло. Не жалость ещё, нет, до жалости было далеко, жалость в нём была давно выжжена. А что-то вроде эха жалости, тень от тени, отзвук того, чем он был когда-то, очень давно, до того как научился не чувствовать. Будто детский голос, чистый и не знающий, чего спрашивать нельзя, на миг задел в Адриане ту самую неубитую струну на дне и она беззвучно отозвалась. Адриан не понял этого тогда. Он списал бы это, если б заметил, на дурной сон, на несвежую голову, на что угодно. Но струна отозвалась — впервые за годы, — и это было не случайно, и это было начало, хотя Адриан и не знал, началом чего, и шёл к Архиву, и думал, что просто не выспался.

Угасших с площади убирали тихо. Адриан знал, как это бывает, потому что знал в Континууме почти всё, что касалось смерти, — это была его область. Когда человек завершал отсчёт в светлой комнате, тело уносили быстро, без обряда, потому что обряд — это излишек, а кроме того, обряд означал бы, что смерть — событие, а государству было важно, чтобы смерть непродуктивной единицы событием не была, чтобы она была просто исчезновением, тихим вычитанием из числа. Жильё угасшего в тот же день переписывали на нового жильца, из очереди, и новый жилец въезжал в ещё тёплые комнаты, в которых иногда оставались вещи прежнего, и вещи эти полагалось сдать, но многие не сдавали, оставляли себе, и так по Континууму ходили чужие чашки, чужие одеяла, чужие мелочи, пережившие своих хозяев,

и никто об этом не думал, потому что думать об этом было незачем. Имя угасшего вычёркивали из живых ведомостей и заносили в мёртвые, к корректорам, на стол. И корректор — может быть, сам Адриан — открывал его жизнь и переписывал её в вину. Круг замыкался. Человек, ещё вчера дрожавший на Экране, через неделю-другую существовал уже только как исправленная биография, как назидательный пример, как строчка в счёте угасших, и те, кто его знал, постепенно начинали помнить его таким, каким его переписали, а не таким, каким он был. Государство не просто убивало тело. Оно переписывало и память, и делало это руками таких, как Адриан, и в этом была высшая его предусмотрительность: не оставлять по человеку даже правды о том, кем он был.

Архив занимал двенадцать нижних ярусов огромного здания без окон, стоявшего на отшибе блока, и Адриан спускался туда каждое утро, как спускаются в воду, — невольно задержав дыхание на пороге, хотя дышать внизу было можно, воздух там был такой же, как везде, прохладный, отдающий озоном и бумажной пылью.

Здание это было из тех же глухих башен, что Адриан видел из своего окна, но среди них — особенное. Прочие башни производили вещи: металл, ткань, еду, руду. Архив производил память. Сюда стекались жизни всех угасших Континуума, чтобы здесь их разобрали, переписали и привели в соответствие, и оттого Архив был не просто предприятием, а одним из сердец государства, тайным и важным, и стоял

на отшибе не случайно: его не прятали, но и не выставляли, как не выставляют то, без чего нельзя, но о чём не говорят вслух. Все знали, что он есть. Немногие знали, что в нём делается. И, как всякая башня, он уходил вниз: то, что торчало над землёй, было лишь входом, а двенадцать ярусов корректорских ячеек лежали под ним, ярус за ярусом, в глубине.

Под землю в Континууме уходило всё, и причина тому была простая, разумная, не раз повторённая с экранов: так производительнее. Строить вширь — значит тратить поверхность, гонять людей по улицам, терять время на дорогу; врезаться вглубь — значит сложить работу и жильё в один столб, ярус на ярус, чтобы рабочий спал над цехом и спускался на смену в несколько шагов. Ни лишнего метра, ни лишней минуты. Земля была дешевле простора, глубина — выгоднее ширины, и Континуум рос не к поверхности, а от неё, вращая в породе тысячами своих башен, как вырастают корни. Адриану это казалось таким же естественным, как то, что вода течёт вниз. Он никогда не задумывался, что вниз можно вырасти так глубоко, что забудешь, где верх.

Он прошёл проходную — снова запястье к панели, снова покалывающее тепло, снова разрешение, на этот раз войти в Архив, — и спустился на свой ярус, девятый сверху, четвёртый снизу. Ярус был огромным залом с низким потолком, разделённым на сотни одинаковых ячеек тонкими перегородками, и в каждой ячейке сидел корректор, и над каждым лежал тот же прохладный ровный свет, не дающий те-

ней. Тишина в Архиве была особенная — не полная, а наполненная мелкими, сухими звуками: шорохом, щелчками панелей, шелестом тех немногих документов, что ещё существовали на бумаге, тихим дыханием сотен людей, занятых одним и тем же делом. Здесь не разговаривали. Точнее, разговаривали только по делу и только вполголоса, и за двадцать лет Адриан привык к этой тишине настолько, что наверху, на улицах, под говорящими экранами, ему иногда делалось не по себе от шума.

Его работа называлась корректура биографий, и Адриан, спускаясь к ней каждое утро, давно перестал думать о том, что она такое. Но если бы кто-нибудь спросил его — а никто не спрашивал, такие вопросы не задавали, — он сумел бы объяснить, потому что понимал свою работу очень хорошо, лучше, чем хотел бы.

Когда человек в Континууме угасал, не справившись с отсчётом, после него оставалась жизнь. Не тело — тела убирали быстро и без церемоний, — а именно жизнь: след, который человек прочерчивал в мире за годы, что он в нём пробыл. Записи о его работе. О его жилье, перемещениях, расходах. Его слова, если он их где-то оставил. Его поступки. И, главное, люди — те, кто его знал, кто с ним жил, кто, может быть, его любил и теперь будет о нём помнить. Вся эта оставшаяся жизнь представляла для государства проблему, потому что она была неупорядоченной, а государство не терпело беспорядка. Хуже того — она была опасной. Потому что че-

ловек, который угас, в памяти знавших его людей мог остаться кем угодно. Мог остаться хорошим работником, которого почему-то уволили. Мог остаться добрым, или умным, или весёлым. Мог остаться невинным. А невинный угасший — это была мысль, способная, если ей дать укорениться, расшатать всё: ведь если угас невинный, значит, система может ошибаться, а если система может ошибаться, значит, зелёный свет под твоим запястьем ничего не гарантирует, и тогда страх, на котором держался весь Континуум, страх перед справедливым отсчётом, превращался в другой страх — в страх перед отсчётом несправедливым, слепым, который может прийти за каждым. А с таким страхом государство жить не умело: несправедливый страх рождает не послушание, а отчаяние, отчаявшимся же нечего терять.

И вот тут начиналась работа корректора. Задача состояла в том, чтобы, открыв биографию угасшего, переписать её — всю, целиком, от рождения до светлой комнаты, — так, чтобы из неё стало ясно, очевидно и неоспоримо: этот человек заслужил свой конец. Что он был ленив с детства. Что в школе он отлынивал, на первой работе халтурил, на второй — был тих и незаметен там, где требовалось рвение. Что он копил мелкие провинности, как другие копят заслуги. Что государство, добрейшее итерпеливейшее, давало ему шанс за шансом, а он проматывал их один за другим по той самой медлительности души, которая хуже преступления. Что, наконец, потеряв занятость — а терял он её, разумеется, по

своей вине, по нерадивости, — он получил свои законные тридцать суток и свои тысячи открытых дверей и не вошёл ни в одну, не захотел, ибо был, в сущности, уже мёртв задолго до светлой комнаты, мёртв ленью и безволием. Вот что должно было читаться в исправленной биографии. И тогда люди, знавшие угасшего, читая её — а исправленные биографии рассылались всем, кто значился в окружении покойного, под видом «уведомления о соответствии», — люди эти сверяли свою живую память с исправленной записью и, не сразу, но неизбежно, начинали сомневаться в памяти. Неужели он и вправду был ленив? А ведь да, кажется, был — вон и записано. Неужели он отлынивал? Ну, наверное, отлынивал, государство зря не напишет. И живая память, мягкая, податливая, ненадёжная, уступала твёрдой записи, и через год знавшие угасшего помнили уже не его, а его исправленную биографию, и угасший становился в их памяти виноватым, заслужившим, и страх перед справедливым отсчётом оставался цел, и зелёный свет под запястьями продолжал что-то гарантировать. Так из мёртвых делали виноватых. А из живых, читавших, — послушных. Это и была работа Адриана. Он делал её двадцать лет.

Он был лучшим корректором девятого яруса — а значит, и одним из лучших во всём Архиве, потому что девятый ярус считался ярусом сложных случаев. Адриан умел то, чего не умели многие: он умел делать шов незаметным. Иной корректор, переписывая жизнь, перебарщивал — лепил из по-

койного такого отъявленного бездельника, что живая память возмущалась и не верила, и тогда вместо послушания рождалось подозрение. Адриан так не делал. Он знал, что лучшая ложь — та, что на девять десятых состоит из правды. Он оставлял в биографии всё хорошее, что было в человеке, — все его настоящие заслуги, всю доброту, весь ум, — оставлял и не трогал, а потом одним-двумя точными движениями добавлял к этому хорошему тень. Маленькую. Достоверную. Не «он был ленив», а — «коллеги отмечали в нём редкое дарование, которому, увы, не всегда сопутствовало усердие». Не «он халтурил», а — «при всей его одарённости норму он выполнял неровно, и это, при множестве предупреждений, в конце концов решило его судьбу». И живая память, читая такое, не возмущалась — всё было почти правдой, всё узнавалось, — и проглатывала вместе с правдой ту крупину тени, что Адриан туда вложил, и тень разрасталась в памяти сама, без его участия: тень всегда разрастается, если ей дать опору. Вот в чём состояло его мастерство. Он умел губить человека, не сказав о нём ни одного дурного слова. Его за это ценили. Ему за это давали две комнаты, отдельную воду и фиолетовую полосу первой категории. И он давно перестал замечать сам себя за этой работой, как перестают замечать запах места, в котором живут.

Рабочее место встретило его привычным светом и привычной тишиной. Ячейка — стол, панель, кресло, перегородки по три стороны, открытая сторона в проход. Адриан сел.

Тело опустилось в кресло само, приняв форму, которую принимало двадцать лет. Напротив, через проход, в своей такой же ячейке, уже сидел Морн.

— Опять ты раньше всех, — сказал Морн, не поднимая головы от панели. — Когда-нибудь придёшь, а норму уже сдали за тебя, и окажется, что ты не нужен, и привет, тридцать суток. — Он сказал это и тихо, сухо хмыкнул, довольный.

Это была их старая шутка, одна из многих. Шутить про отсчёт мог себе позволить только тот, у кого таймер был стабилен, — и потому в Архиве, где собрались сплошь стабильные таймеры, ценные специалисты, люди вне подозрений, про отсчёт шутили часто, постоянно, как шутят про то, чего боятся больше всего на свете, пытаясь шуткой это приручить. Морн был мастером таких шуток. Он был вообще мастером говорить вслух то, за что других давно бы увели, — и каждый раз, дойдя до самого края, до той черты, за которой слова становятся опасными, он обрывал себя коротким смешком, оставляя мысль недосказанной, висящей в воздухе, и слушателю казалось, что Морн смелее, чем есть, что он думает то, чего не договаривает, что он свой, понимающий, что с ним можно. С Морном Адриан разговаривал. Единственный во всём Архиве, единственный, кажется, во всём Континууме. Не то чтобы они были друзьями — слово «друг» в Континууме почти вышло из употребления, дружба была связью без пользы, а значит, на подозрении, — но

они были чем-то вроде. Сидели напротив двадцать лет. Знали привычки друг друга. Иногда обедали вместе в столовой яруса, за одним из длинных серых столов, и Морн говорил, а Адриан слушал, и в этом было что-то, отдалённо напоминавшее тепло, — насколько тепло вообще было возможно между двумя мёртвыми людьми, делающими мёртвую работу.

Морн был старше — под шестьдесят, грузный, лысоватый, с тяжёлыми веками и быстрыми, очень умными тёмными глазами, которые жили на его сонном лице отдельной, настороженной жизнью. Он был корректором ещё дольше Адриана и знал об Архиве всё, и знал, кажется, всё и обо всех, и это знание он носил легко, посмеиваясь, будто оно ничего не весило, — хотя Адриан давно подозревал, что весит оно очень много и что Морн просто умеет носить тяжёлое так, чтобы не было видно.

Адриан не знал о Морне почти ничего из того, что обычно знают друг о друге близкие люди, — да в Континууме и не было такого знания, не принято было рассказывать о себе, прошлое каждого было его частным делом, а чаще и вовсе не было ничего, что стоило бы рассказать, потому что все жизни складывались одинаково. Он не знал, был ли у Морна когда-нибудь кто-то — жена, ребёнок, привязанность; не знал, всегда ли Морн был таким — обрюзгшим, насмешливым, всё подмечающим — или когда-то был другим. Морн не рассказывал, а Адриан не спрашивал. И всё же за двадцать лет, проведённых лицом к лицу через узкий проход, между

нимиросло что-то — не дружба, для дружбы нужны слова, признания, доверие, а они не доверяли друг другу, потому что в Континууме не доверяли никому, — но какая-то привычка друг к другу, какое-то молчаливое признание, что вот есть на свете ещё один человек, который делает то же, что и ты, сидит там же, где ты, и так же, как ты, не верит ни во что и держится на одной привычке. Иногда Адриану казалось, что Морн — единственное живое, что осталось в его жизни, и тут же он одёргивал себя, потому что Морн был не живее его самого, и держаться за него было всё равно что держаться за собственное отражение. Но больше держаться было не за что. И они держались друг за друга — двое мёртвых в тихом зале, перебрасываясь шутками про смерть, потому что только так, через шутку, и можно было хоть на минуту сделать вид, что ты ещё человек.

Был в Морне и ещё один слой, который Адриан угадывал, но в который не вглядывался, потому что вглядываться было неуютно. Морн слишком хорошо устроился. Он работал спустя рукава — в последние годы откровенно ленился, сдавал норму кое-как, переписывал небрежно, — и при этом никогда, ни разу не попадал даже в тень неприятностей; его не понижали, не двигали, не трогали, будто он был защищён чем-то, чего у других не было. Адриан замечал это краем сознания и тут же отводил мысль, потому что мысль вела в неприятную сторону, а думать неприятное было незачем. Мало ли. Может, у Морна были заслуги, о которых Адриан

не знал. Может, его держали за опыт. Может, просто везло. Адриан не доискивался. В Континууме не доискивались до того, что тебя не касается, — это было первое правило выживания, и Адриан соблюдал его свято, не зная ещё, что очень скоро нарушит его, и не из-за Морна, а из-за пустой папки, которая уже лежала, дожидаясь его, в ячейке, и которая перевернёт всё.

— Что дали сегодня? — спросил Адриан, садясь и пробуждая свою панель прикосновением.

— Да так, мелочь, — МORN зевнул, прикрыв рот тыльной стороной ладони. — Двое пекарей и один учитель младшей ступени. Пекари — скучные, угасли честно, по лени, тут и переписывать почти нечего, само пишется. А учитель — учитель повеселее, — он чуть оживился, и глаза его блеснули. — Учитель, понимаешь ли, был любим. Дети его любили, родители уважали, был, говорят, талант от бога. И уволили его не пойми за что — формулировка мутная, «несоответствие методическим нормам», а за этим может стоять что угодно, хоть лишнее слово, сказанное не тому ребёнку. И теперь мне его, голубчика, надо сделать бездарём, которого поделом турнули, да так, чтобы тридцать семей, что его любили, в это поверили. — МORN покачал головой, не то жалуюсь, не то восхищаясь сложностью задачи. — Любимых тяжело переписывать. Любовь — она, зараза, цепкая. Держится за память когтями. Ну ничего, размотаем и любовь. Всё размотаем, на то и поставлены.

Он говорил это легко, привычно, и в словах его не было ни жестокости, ни жалости — была усталая профессиональная сноровка человека, который слишком давно делает своё дело, чтобы видеть в нём что-то, кроме набора задач разной сложности. Адриан понимал его прекрасно. Он сам был такой.

— Учитель, пекарь, — Морн пожевал губами. — Думаешь, кто к нам сюда попадает? Мелочь попадает. Мелкая сошка с нижних ярусов да наш брат с чистых этажей. А настоящего народа, того, что в башнях руду долбит да металл лёт, ты тут, считай, и не видишь — их столько, что, угасни хоть половина, число только подрастёт, и переписывать-то их незачем, никто их не помнит, кроме своего же яруса. — Он повёл рукой куда-то вверх и вбок, обводя невидимый Континуум. — Так и стоит наша башня на трёх ярусах, Адриан, как и весь Континуум. Наверху — те, кто командует, директора, распорядители, чистые люди в чистых домах; они нас с тобой и не замечают, мы для них — мебель учётная. Внизу — те, кто горбатится, и их тьма, и они мрут да рождаются, мрут да рождаются, и им наверх ходу нет, сколько ни горбатиться. А мы с тобой — посередке. Тонкая прокладка. Бумажки. Ни рыба ни мясо: руками не работаем, но и не командуем — так, ведём счёт тем и этим. — Он усмехнулся своей сухой усмешкой. — И знаешь, в чём наша с тобой удача? Прокладку легко стереть. Нас мало, и заменить нас — раз плюнуть. Так что сиди тихо, голубчик, и считай, что повезло: и не в

ярусе сгнил, и не на виду у самого верха торчишь. Середина. Самое безопасное место, если не дёргаться.

Он говорил это всё с той же ленцой, вроде бы в шутку, — но Адриан, слушая, поймал себя на том, что никогда прежде не задумывался об этом так ясно: что весь огромный Континuum, все его тысячи башен, врытых в землю, стоят вот на этом простом, грубом порядке — верх, низ и узкая полоска между ними, к которой он принадлежал. И что полоска эта тонка, и держится в ней он лишь до тех пор, пока нужен.

— А тебе, — продолжал Морн, и тон его чуть изменился, сделался как бы между прочим, ленивее обычного, и оттого Адриан, знавший Морна двадцать лет, насторожился, сам не понимая почему, — а тебе, я слышал, что-то особое сегодня. С самого верха спустили. Прямо в твою ячейку, минуя распределение. — Он наконец поднял тяжёлые веки и посмотрел на Адриана через проход своими быстрыми глазами. — Я бы на твоём месте, знаешь, порадовался. Особое дают двоим: либо тем, кого очень ценят, либо тем, кого хотят проверить. А поскольку ценить-то у нас умеют, — он усмехнулся, — то я тебе по-стариковски советую: ты сделай это особое дело хорошо. Очень хорошо. Лучше, чем умеешь. На всякий случай. — И добавил, совсем уже мягко, почти ласково, тем самым тоном, каким говорил Экран: — Ты ведь у нас вне подозрений, Адриан? Совсем-совсем вне?

— Я вне всего, — сказал Адриан.

И это была правда, и Морн это знал, и оба знали, что это

правда, и всё-таки между ними на мгновение повисло что-то — короткое, неуловимое, как тень от тени, — и тут же растаяло, и Морн уже снова смотрел в свою панель, бормоча что-то про учителя и его цепкую любовь, и Адриан решил, что ему почудилось. В Архиве часто чудилось. Тишина и ровный свет располагали к тому, чтобы чудилось.

Адриан приложил запястье к панели своей ячейки. Показывающее тепло. Ячейка узнала его и открылась — не дверь, а отделение в столе, куда поступали дела, требующие бумаги, потому что самые важные дела в Континууме всё ещё вели на бумаге: бумагу нельзя стереть удалённо, бумага не исчезает при сбое, бумага лежит там, где её положили, и за это государство, не доверявшее даже себе, держало бумагу для всего, что важно. Внутри отделения лежало одно-единственное дело.

Адриан достал его и понял, отчего насторожился Морн.

Папка была помечена грифом, какого Адриан не видел уже несколько лет, — бледно-фиолетовым, но не таким, как полоса на его рукаве, а иным, глубже, с лиловым отливом. Это был цвет Управления Соответствия — не Архива, в котором Адриан работал, а того ведомства, что стояло над Архивом, и над порядком, и, кажется, над всем остальным, и о котором в Континууме знали мало и говорили ещё меньше, потому что разговоры об Управлении Соответствия имели обыкновение плохо кончаться. Дела с лиловым грифом спускались редко. Адриан за двадцать лет держал в руках такое,

может быть, раз пять, и каждый раз дело оказывалось из ряда вон. Он положил папку на стол и раскрыл её.

Биография женщины.

Это было видно сразу — по форме записи, по графам, — но почти ничего больше видно не было, потому что биография была странной. Адриан читал её, и с каждой строкой ощущение странности росло, превращаясь в нечто, чему он не сразу подобрал имя, потому что отвык от этого ощущения, — в недоумение, граничащее с тревогой.

Имя было стёрто.

Не отсутствовало — это бы ещё ладно, бывали дела с неустановленными именами, безымянные, и их полагалось вести под номером. Нет, имя именно стёрли: в графе «Имя» стояла плотная чёрная полоса, какой система замазывала засекреченное, и под этой полосой что-то было, какое-то имя было записано и потом скрыто, и это было невозможно, потому что имена в Континууме не стирали никогда. Имя было основой всего. С имени начинался человек, имя вживляли в имплант вместе с нитью, имя было ключом ко всем записям, к занятости, к жилью, к самой жизни. Стереть имя значило стереть человека из самой ткани государства, а государство ничего не стирало бесследно — оно всё хранило, всё помнило, в этом была его сила. И вот — стёртое имя. Адриан смотрел на чёрную полосу и чувствовал, как под ровным зелёным светом его благополучия что-то едва заметно сдвигается.

Он читал дальше. Возраст на момент смерти — не ука-

зан. Графа пуста. Место рождения — пусто. Занятость — и здесь вместо названия места и категории стояло одно слово, которого Адриан в графе «Занятость» не видел ни разу за двадцать лет: «Нет». Не «утрачена», не «прервана», не «временно отсутствует» — а просто «нет», как если бы у человека занятости не было никогда, как если бы он прожил жизнь вне труда, что было так же невозможно, как прожить её без имени, потому что без занятости шёл отсчёт, а с отсчётом долго не живут.

И, наконец, причина смерти.

Адриан дошёл до этой графы и остановился, и перечитал, и перечитал ещё раз, потому что не поверил глазам.

Графа была пуста.

В Континууме человек не мог умереть просто так. Это Адриан знал не как корректор, а как житель этого мира, знал всем телом, всей прожитой жизнью: у каждой смерти есть причина, и причина в конечном счёте всегда одна — недостаток труда, нерадивость, угасание. Можно было умереть от несчастного случая на производстве — но и это записывалось как «прекращение занятости вследствие несоответствия технике безопасности», то есть опять-таки по вине угасшего. Можно было умереть старым — но и старость в Континууме была формой непродуктивности, и стариков, переставших давать вклад, ждал свой, особый, медленный отсчёт. Смерть без причины была невозможна, немыслима, противоречила самому устройству мира. А в этой папке, в

графе «причина смерти», под лиловым грифом Управления Соответствия, не стояло ничего. Женщина без имени, без возраста, без занятости умерла без причины. Вне отсчёта. Вне системы. Будто и не жила в ней. Будто пришла откуда-то извне, прожила сколько-то лет так, как Континуум не позволял жить никому, — без имени в реестрах, без зелёного света под кожей, без ежеутреннего разрешения у двери, — и ушла так же, как пришла, не оставив системе ни единого крючка, за который та могла бы её зацепить.

Адриан перевернул последний лист. Внизу, под пустыми графами, было задание — то, ради чего дело спустили именно ему, лучшему корректору девятого яруса. Задание было короткое, всего три строки, набранные тем же ровным казённым шрифтом, что и всё в Континууме, и от этой ровности оно казалось ещё страннее:

«Привести в соответствие. Установить и зафиксировать вину. Срок исполнения — трое суток».

Адриан откинулся в кресле и долго смотрел на эти три строки, потом — снова на чёрную полосу вместо имени, потом — на пустую графу причины смерти. Установить и зафиксировать вину. Но вина устанавливалась из жизни — из записей, из поступков, из той самой оставшейся после человека жизни, которую корректор разматывал и переписывал. А здесь жизни не было. Не было ничего, что можно было бы разматывать. Как установить вину человека, которого как будто не существовало? Как переписать биографию, которой

нет? Дело было не просто сложным — оно было невозможным, и Адриан, двадцать лет не встречавший невозможных дел, ощутил вдруг незнакомое, почти забытое волнение, и не сразу понял, что это.

А когда понял, удивился ещё больше — потому что чувство это он считал в себе давно и надёжно умершим, погребённым под двадцатью годами ровной серой работы, под тысячами переписанных жизней, под ежедневным зелёным светом. Он думал, что в нём не осталось ничего живого. Он ошибался. Что-то в нём — маленькое, упрямое, неистребимое — шевельнулось при виде этой невозможной папки, потянулось к ней, как тянется к свету росток сквозь бетон, и Адриан, прислушавшись к себе с осторожным изумлением, наконец дал этому имя.

Любопытство.

Ему было любопытно. Впервые за невообразимо долгое время ему хотелось узнать — не выполнить норму, не привести в соответствие, а просто узнать: кто была эта женщина без имени? Как она жила вне системы, в которой жить вне системы было нельзя? Откуда пришла? И — главное, главное, отчего по спине шёл странный холодок, — как, как именно она сумела умереть без причины в мире, где у каждой смерти есть причина? Что должно произойти с человеком, чтобы государство, всезнающее, всепомнящее, всё записывающее, оставило в графе его смерти пустоту и замазало его имя чёрным?

Адриан не знал ответа. И ещё он не знал — и хорошо, что не знал, потому что, узнай он это сейчас, он, может быть, нашёл бы в себе силы закрыть папку, отнести её назад и попросить другое дело, любое, про честно угасших пекарей, про что угодно, лишь бы не это, — он не знал, что в ту самую минуту, когда любопытство шевельнулось в нём и потянулось к лиловой папке, его собственный таймер, такой ровный, такой надёжно-зелёный, не отмеченный тревогой ни на одной панели Континуума, начал свой отсчёт. Тихий. Невидимый. Не вброс нейротоксина — пока ещё нет, — а кое-что иное, кое-что, для чего у государства не было графы, потому что государство, при всём своём всезнании, до конца не понимало, как это работает, и оттого боялось этого больше всего: пробуждение.

Он закрыл папку, прижал ладонью её лиловый гриф и сидел так, чувствуя под другой ладонью, на запястье, ровное тепло зелёного света, который ещё ничего не знал.

Наверху, над двенадцатью ярусами Архива, над городом прямых улиц, на большом Экране площади Соответствия гражданин Т-449 дошёл до двадцать девятых суток, и тёплый голос сообщил об этом всем, кто шёл мимо, и все, кто шёл мимо, прибавили шаг.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.